

Говорящая картина



А. Курилов

18+

Александр Кириллов

Говорящая картина

<https://litres.ru/74677944>

SelfPub; 2026

Аннотация

Это история одержимости. Мечты, которая сначала даёт крылья, а потом не даёт остановиться. Картина из старого журнала, море, которого он никогда не видел, и голос, который шепчет: «Выше». Крыши Петербурга, жар кухни, дружба на всю жизнь, любовь, которая не случилась, и путь на самую вершину, где придётся понять, зачем он туда шёл.

Содержание

Перелётные птицы	5
Судьба	40
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Александр Кириллов

Говорящая картина

АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВ

ГОВОРЯЩАЯ

КАРТИНА

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Перелётные птицы

Глава 2. Судьба

Глава 3. Песочные люди

Глава 4. Ящик с яблоками

Глава 5. На крыльях любви

Глава 6. Дом для гостей

Послесловие

ГЛАВА 1

Перелётные птицы

В такую мерзкую погоду хочется сидеть дома и ничего не делать. Этим я и занимался. У нас в городе такую погоду называют Кисляком, и уже по одному названию понятно, что на улице делать нечего. Была только середина сентября, а листья почти все облетели и лежали вперемешку с грязью. От этой картины меня накрывало тоской, как мокрым капюшоном, и ни о чём хорошем думать не получалось. Только на проводах за окном было оживлённо. Там с утра до вечера сидели птицы, сотнями, плечом к плечу, как люди на остановке. Галдели, срывались все разом, делали круг над комбинатом и снова садились. Я тогда не знал, зачем они собираются. Думал, просто так.

Я вышел в общий коридор нашей общаги. Там всегда пахло одним и тем же: жареной картошкой, сигаретами и сырыми досками. Из четвёртой квартиры, как обычно, играла музыка. Репертуар на нашем этаже был небогатый, Высоцкий или Розенбаум, и больше ничего. Крутил их дядя Слава на своём старом магнитофоне, который через раз зажёвывал плёнку. Тогда музыка обрывалась на полуслове, за дверью раздавался мат, потом долгая тишина, и всё начиналось сначала. Дядя Слава перематывал кассету карандашом. Я это знал точно, потому что сам однажды одолжил ему этот карандаш и обратно уже не увидел.

Курить хотелось ужасно. Свои заначки я держал по всей общаге: за отошедшим плинтусом, в щели под подоконником, в старом пожарном ящике без шланга. Бычки там всегда лежали ровно там, где я их оставил. Никто, кроме меня, туда не лазил, потому что никому, кроме меня, это было не нужно.

Ещё одним моим любимым занятием было рисовать фломастером на подоконниках и стенах. Рожицы, самолёты, чьи-то имена, а иногда просто закорючки. Вся общага знала, что это моих рук дело, но поймать меня за руку не мог никто. Я был как партизан. Тётя Нина со второго этажа грозилась, что однажды всё расскажет бабушке. Но рассказать и доказать — это разные вещи, а бабушка признавала только доказательства.

Общага наша была старая, как динозавр. Бабушка говорила, что её построили в девятьсот седьмом году, когда город ещё назывался Вяткой. А на дворе стоял две тысячи пятый. Девяносто восемь лет деревянному дому! Как он до сих пор держался, для меня оставалось загадкой. Двери в подъездах висели на полуживых петлях, полы скрипели так, что ночью было слышно, кто пошёл в туалет и кто вернулся. А зимой сквозняк гулял по коридорам и посвистывал, как будто где-то в стене жил свисток.

Однажды я прятал спички над козырьком подъезда. Там между досками была щель, и я всегда совал коробок туда. И вот как-то раз сунул руку, а спичек нет. Я полез глубже, залез

под козырёк почти с головой и нащупал что-то мягкое. Это оказалась старая кожаная сумка, помятая, с облезлой пряжкой. Внутри лежали письма. Пожелтевшие, исписанные мелким, острым почерком на непонятном языке. Только даты были понятны. Тысяча девятьсот сорок шестой год.

Потом уже мне объяснили, что письма были на немецком. Откуда тут немцы? До нашего города они так и не дошли. Война-то, конечно, сюда пришла: бабушка рассказывала, что с нашей улицы на фронт уходили почти из каждой квартиры, а вернулись немногие. Но сами немцы попали к нам только пленными. Слухи ходили разные. Будто после войны пленных пригоняли работать на лыжный комбинат через дорогу, и жили они где-то рядом, чуть ли не в нашем доме. Но толком никто ничего не знал. Все что-то где-то слышали, кто-то кому-то рассказывал, а спросить было уже не у кого.

Ценности этих писем я тогда не понимал. Мы с пацанами сожгли их за сараями. Бумага горела хорошо, сухая была, хорошо выдержанная. Я смотрел, как чёрные листы скручиваются и улетают вверх, и думал только о том, что костёр получился знатный. Сейчас бы я многое отдал, чтобы узнать, кому их писали. И кто так и не получил ответа.

Хорошими дорогами наш район никогда не славился, асфальт тут видели не везде, так что улицы после дождей напоминали траншеи, а лужи стояли знатные. Местами, честное слово, по пояс. Напротив дома работал тот самый большой комбинат, где делали лыжи и перерабатывали дерево.

Оттуда круглые сутки доносились удары, будто кто-то бил огромной кувалдой, и громко лаяли собаки, которые бегали по территории. А в воздухе пахло торфом, древесным углём и почему-то свежим лесом.

Бабушка работала на этом комбинате мастером смены, и дома я её почти не видел. Она брала по две смены подряд и часто оставалась там же, чтобы поспать несколько часов. Тамару Васильевну на комбинате уважали. Женщина она была справедливая и суровая. Взгляд тяжёлый, серьёзный, будто она в каждом заранее видела враньё и только ждала, когда оно вылезет. Доверяла она мало кому. И всегда оказывалась именно там, где что-то происходило. Выпустят брак и захотят его спрятать, а она уже стоит рядом. Опоздает кто-нибудь на смену, а она встречает его прямо на проходной.

Воспитывала она меня строго, поэтому баловаться я мог только в её отсутствие. Отсутствовала она часто, так что баловался я много. Мы с ней были как два соседа по коммуналке, которые друг друга любят, но видятся в основном на кухне. Она приходила, ставила на плиту кастрюлю, курила у форточки и спрашивала:

— Ел?

— Ел.

— Чего ел?

— Картошку.

— Опять картошку. Скоро клубнями покроешься.

И уходила спать. Это был весь наш разговор. Но в нём,

если подумать, было всё, что нужно.

В начале месяца мне исполнилось шестнадцать. Бабушка оставила на столе пятьдесят рублей и записку: «С днём рождения. Купи себе что-нибудь нужное». Я купил сигарет. Это было нужное.

Девятый класс я закончил ещё в июне. Надо было решать, в какое училище идти и какую профессию осваивать. Документы принимали всё лето. Учителя говорили об этом всю весну, бабушка напоминала каждую неделю, а я кивал и думал о другом. Лето оказалось таким коротким, что я так никуда и не подал. Первого сентября все мои одноклассники пошли кто в десятый класс, кто в техникум, кто в училище. А я остался. Бабушке я сказал, что документы отнёс и жду списков. Это было первое большое враньё в моей жизни, которое она почему-то не поймала. Или сделала вид. Целыми днями я слонялся по городу со своим новым другом. Звали его Толик.

С Толиком мы познакомились в августе на овощной базе. Туда брали пацанов без всяких документов, платили наличными в конце дня, и никто не спрашивал, сколько тебе лет. Нас поставили разгружать фуру с арбузами. Работа простая: один стоит в кузове и кидает, другой ловит и складывает в контейнер. Кидал Толик, ловил я.

Толик был на голову выше меня, широкий в плечах, с ленивым медленным лицом, как у кота на солнце. А голос у него был такой, что я сначала не поверил. Бас. Настоящий,

взрослый, как у диктора по радио. Ему было столько же лет, сколько мне, но бас у него прорезался раньше, чем усы.

— Лови, — сказал он, и голос у него ухнул так, будто сказал это не он, а вся фура.

Я ловил арбуз за арбузом. На двадцатом арбузе я понял, что руки у меня не железные. На тридцатом Толик сделал вид, что промахнулся. Арбуз ударился об асфальт и раскололся пополам. Красный, сахарный, с чёрными косточками.

— Брак, — сказал Толик своим басом. — Списываем.

Он прыгнул из кузова, сел на ящик и принялся есть арбуз руками. Мне ничего не оставалось, кроме как сесть рядом. Сок тёк по локтям, осы кружили над головой, а мы сидели и молчали. Тогда я и понял, что с этим человеком можно молчать, и это не будет неловко.

Бригадир, дядька с красной шеей, азербайджанец, заметил нас минут через десять. Он орал так, что с крыши слетели голуби. Толик доел свой кусок, вытер руки о штаны и сказал:

— Чего так орать? Давление.

— Какое ещё давление?!

— Ваше. У вас шея красная. Это давление. Мне бабушка рассказывала.

Бригадир открыл рот, закрыл его и почему-то пошёл к себе в будку. А мы доразгрузили фуру и получили по сто пятьдесят рублей. На следующий день Толик постучал в мою дверь. Не знаю, где он взял адрес. Я его не давал.

С тех пор мы почти не расставались.

Остаток августа мы прожили так, будто лето никогда не кончится. Утром Толик стучал в дверь. Я выходил, и мы шли куда глаза глядят. На речку, где пацаны с соседней улицы прыгали с ржавой баржи. На рынок, где можно было за полчаса поднести ящики какой-нибудь тётке и получить за это пакет слив. К железной дороге, где мы клали на рельсы монетки и потом искали их в щебёнке, расплющенные в тонкий блин.

Жил Толик в пятиэтажке за гаражами, с мамой и младшей сестрой. Мама работала медсестрой в больнице, дома бывала ещё реже моей бабушки, и Толик по хозяйству был за старшего. Он умел варить макароны, пришивать пуговицы, ходил в кружок авиамоделирования и умел чинить кран. Делал он всё это так же, как всё остальное: медленно, с тяжёлыми вздохами, но в итоге без единой ошибки. Был у него и дед, тот самый, со скворечниками. Дед умер прошлой весной. Толик говорил о нём редко, но каждый раз начинал одинаково: «Дед говорил». И после этого шла какая-нибудь мудрость, которую нельзя было ни проверить, ни оспорить.

— Дед говорил, что спешка нужна при ловле блох, — сообщал Толик, когда я тащил его куда-нибудь бегом.

— Дед говорил, что умный в гору не пойдёт, — сообщал он у подножия любой горки.

— Дед говорил, что курить вредно, — сообщал он и протягивал руку за сигаретой.

Сам Толик ни на что особо не рвался. Ему было хорошо там, где он есть. Я этого совсем не понимал. Мне всё время казалось, что настоящая жизнь происходит где-то в другом месте, что там за горизонтом новый и неизвестный мне мир, а я стою в длинной очереди и никак не могу до неё дойти. Честно говоря, думал я об этом очень часто.

Как-то тётя Нина чуть меня не поймала. Я стоял у окна в коридоре второго этажа и выводил на подоконнике большую рожу с усами. Рожа была похожа на дядю Славу, и это меня очень веселило. Я так увлёкся, что не услышал шагов. Опомнился, когда было уже поздно. Тётя Нина поднималась по лестнице с ведром, и до неё оставалось ступенек пять.

Спрятать рожу было некуда. Спрятать фломастер я успел, сунул в рукав. Но руки у меня были синие по самые запястья.

И тут снизу, из подъезда, раздался бас:

— Нина Пална! Вас там на улице спрашивают! Из ЖЭКа!

Голос был такой солидный, такой начальственный, что тётя Нина развернулась прямо с ведром и пошла вниз. Я рванул по коридору в нашу комнату, отмыл руки хозяйственным мылом до красноты, чуть кожу себе не стёр и вышел обратно с самым невинным видом.

Внизу тётя Нина стояла посреди двора и озиралась. Никакого ЖЭКа не было. Был только мой друг Толик, который сидел на лавочке, щёлкал семечки и смотрел умиротворённым взглядом в небо.

— Анатолий, — сказала тётя Нина подозрительно. — Это

ты кричал?

— Я? — удивился Толик. — Я, Нина Павловна, вообще молчу. У меня горло.

И кашлянул. Басом. Тётя Нина постояла, плюнула и ушла. Рожу на подоконнике она нашла через час. Дядя Слава, увидев её, сказал, что это вылитый он, только усы гуще, и попросил не стирать.

Толик был бездельником высшей пробы. Не таким, который валяется на диване, потому что устал. Нет. Толик бездельничал с толком, как другие работают. Он мог час сидеть на трубе теплотрассы и смотреть на ворон. Мог полдня ходить за мной по городу и не спросить, куда мы идём. Если я предлагал что-то сделать, он думал так долго, что дело как-то само отпадало. Но если уж Толик соглашался, то доводил до конца. Это я понял потом.

А я был, по словам тёти Нины, хулиганом и шпаной. Хотя ничего особенного я не делал, чтобы она так думала. Подумаешь, рисовал на стенах, курил бычки, лазил по крышам сараев, дразнил комбинатских собак через забор. Один раз залез на пожарную лестницу и написал на стене третьего этажа своё имя. Большими буквами. Хорошо, что только имя, без фамилии. Бабушка потом долго смотрела на эту надпись из окна и так ничего и не сказала. Но курить в тот вечер ушла не к форточке, а на улицу. Это было хуже любого скандала.

* * *

В тот день, с которого я начал, Толик пришёл около трёх,

после занятий. Я услышал его ещё на лестнице. Ступеньки под ним стонали по-особенному, тяжело и с достоинством. Я вообще начал замечать, что распознаю по шагу всех, кто жил в нашем доме. Он постучал по косяку, хотя я стоял в двух шагах и прекрасно его видел.

— Здорово, — сказал Толик.

— Здорово.

— Курить есть?

— Бычки.

— Бычки — это не курить. Бычки — это археология.

Он всё равно взял. Мы спустились в подъезд, сели на подоконник между первым и вторым этажом, и я прикурил от последней спички. Дым поплыл к потолку, где висела лампочка без плафона. С этой лампочкой у меня тоже были свои отношения: я её дважды выкручивал, а она каждый раз появлялась снова.

— Ты к нашему директору ходил? — спросил Толик.

— Нет.

— А чего?

— Дождь.

— Ну да. Уважительная причина.

Он затаился и посмотрел в окно. Там по луже шла кошка, высоко поднимая лапы, как балерина. На другой стороне дороги из трубы комбината тянулся серый дым и ложился прямо на крыши.

— Ну а у вас там как? — спросил я.

— Нормально. Сварщики.

— Почему ты вообще на сварщика пошёл?

— Там кормят. И маска. В маске никто не видит, спишь ты или работаешь.

Сказал он это совершенно серьёзно. Я засмеялся, а он нет. Толик вообще редко смеялся. Он улыбался одними глазами, а лицо оставалось как у человека, который ждёт автобус.

— Пошли к нам, — сказал он. — У нас на сварщиков недобор. До конца месяца ещё берут, директор сам говорил. Вместе веселее.

— Да не хочу я на сварщика.

— А на кого хочешь?

Я открыл рот и закрыл. Я не знал. Мне много чего хотелось в детстве. В первом классе я хотел стать космонавтом, во втором милиционером, в пятом футболистом. В седьмом классе я целый месяц собирался стать водителем дальнобоя и даже выучил все города на трассе до Москвы. Каждый раз я загорался так, что не мог спать. Читал всё, что мог найти. Рассказывал всем подряд. А потом в одно утро просыпался, и ничего не было. Как будто ночью кто-то выключил свет.

— Не знаю, — сказал я.

— Вот, — сказал Толик. — А сварщик — это профессия.

Мы докурили, посидели ещё немного, и Толик сказал своё любимое:

— Пошли прогуляемся.

У Толика «прогуляемся» могло означать что угодно. Дой-

ти до ларька. Сходить на речку. Пролезть на территорию комбината. На этот раз мы пошли к опилкам.

За комбинатом, со стороны железнодорожной ветки, стояли горы опилок. Настоящие горы, выше двухэтажного дома. Опилки туда свозили годами, и снизу они уже слежались и почернели, а сверху лежали свежие, светлые, пахучие. Если забраться на вершину, видно было весь наш район, общагу, трубы, гаражи, кусок реки с небольшим обрывом, который называли Красной горой, и даже чёрные купола собора, который находился в центре города. Мы называли это место Эверестом.

Чтобы попасть на Эверест, надо было пролезть через дыру в заборе. Дыру эту знали все пацаны района. И собаки тоже знали. Поэтому сначала мы садились за гаражами и слушали. Если собаки лаяли далеко, у проходной, значит, можно идти. Если близко, лучше подождать.

Лай был далеко. Мы пролезли. Я первым, Толик за мной. Толик в дыру проходил с трудом, боком, и всегда при этом ворчал, что забор надо расширять.

— Напиши им жалобу, — сказал я.

— Напишу, — ответил он. — Когда вырасту и стану большим начальником.

— Ты и так большой.

— Это я в ширину большой. А надо в должности.

Опилки под ногами проседали. Подниматься было тяжело, как по песчаному бархану. Мокрые после дождя, они

липли к ботинкам, и на каждом шаге ты съезжал назад на полшага. Толик пыхтел за моей спиной и говорил, что я его специально мучаю. На вершине мы упали на спины и долго лежали. Небо было низкое и серое, как старое одеяло.

И тут я их услышал.

Звук шёл сверху и сразу отовсюду. Тонкий, переливчатый, как будто кто-то далеко-далеко звал кого-то по имени и не мог дозваться. Я сел. Толик тоже сел.

Над комбинатом, над трубами и дымом, медленно шёл клин. Большие серые птицы с длинными шеями. Журавли. Я никогда раньше не видел их так близко. То есть видел, наверное, каждый год, но не смотрел и не обращал внимания. А тут посмотрел.

Они летели ровно, как по линейке. Один впереди, остальные двумя хвостами за ним. Иногда кто-то сбивался, отставал, но тут же подтягивался обратно. И всё время перекликались. Курлыкали. Это слово я знал из учебника, но только сейчас понял, что оно правильное.

— Журавли, — сказал Толик своим басом.

— Вижу.

— На юг полетели.

— Сам вижу.

Он помолчал и добавил:

— Умные. Знают, куда лететь.

Мы смотрели, пока клин не превратился в чёрточку, а потом и чёрточка растворилась в сером небе. Звук ещё долго

висел в воздухе, уже после того как птиц не стало видно. А может, он просто засел у меня в голове.

— А откуда они знают? — спросил я.

— Что?

— Куда лететь. Их же никто не учит. Карты у них нет. А они каждый год в одно и то же место.

Толик подумал. Думал он долго, как всегда.

— Родились такими, — сказал он наконец. — У них внутри компас.

— А у нас?

— А у нас нету. Поэтому ты до сих пор никуда не записан.

Я засмеялся. Но внутри у меня что-то кольнуло. Я посмотрел вниз, на нашу общагу. С Эвереста она казалась совсем маленькой и кривой, как спичечный коробок, который долго носили в кармане. Окно нашей комнаты я нашёл сразу, по занавеске в синий горошек. Бабушка повесила её, когда мне было лет пять, и больше никогда не меняла.

Обратно мы спускались бегом. Съезжать с Эвереста было весело, опилки летели из-под ног, мы падали, катились, хохотали. Внизу, у самого забора, я споткнулся обо что-то и полетел носом в мокрую траву.

Сначала я подумал, что это тряпка. Серая, мятая, в опилках. Потом тряпка шевельнулась.

Это была птица. Небольшая, размером с голубя, но не голубь. Тёмная, с металлическим зелёным отливом, и вся в мелких белых крапинках, будто её обрызгали побелкой.

Клюв жёлтый, острый. Одно крыло она держала нормально, а второе волочилось по земле, неловко вывернутое.

— Скворец, — сказал Толик. Он присел на корточки, и колени у него хрустнули, как сухие ветки. — Молодой ещё. Видишь, крапчатый.

— Откуда ты знаешь?

— Дед у меня скворечники вешал. Каждую весну. Я ему гвозди подавал.

Скворец смотрел на нас одним глазом. Чёрным, блестящим, как бусина. Убежать он не мог, только открывал клюв и тихо шипел.

— Собаки, наверное, — сказал Толик. — Подрали.

И как будто в ответ на его слова со стороны цехов донёсся лай. Сначала один голос, потом второй, потом целый хор. И лай этот приближался.

— Валим, — сказал Толик.

Я снял куртку, накрыл скворца и сгрёб его вместе с курткой в охапку. Он забился, но слабо. Мы рванули к дыре в заборе. Я пролез первым, прижимая к себе куртку. Толик застрял.

Застрял он основательно. Голова и плечи по нашу сторону, а всё остальное по ту. Он пыхтел, дёргался, ругался шёпотом. А из-за угла ближнего цеха уже вылетели три собаки. Рыжая, чёрная и одна непонятная, лохматая, с куском верёвки на шее.

— Толик! — заорал я.

— Вижу, — сказал Толик.

И тут он сделал то, чего я никогда не забуду. Он не стал дёргаться сильнее. Он медленно повернул голову к собакам и рывкнул на них так громко своим басом. Так, что у меня заложило уши. Я даже не понял, что он рывкнул. Какое-то одно слово, короткое и страшное, как выстрел.

Собаки встали как вкопанные. Рыжая села на задние лапы. Чёрная прижала уши. А лохматая развернулась и убежала обратно, волоча свою верёвку. Пока они соображали, что это было, Толик выдохнул, втянул живот и пролез.

— Ты что им сказал? — спросил я, когда мы отбежали за гаражи.

— Это секрет, — ответил Толик. — Дедово слово. Передаётся по наследству.

— Научи.

— Не могу. Голос не тот. Ты пищишь.

— Сам ты пищишь!

— Я не пишу. Я рокочу.

Скворец у меня под курткой затих. Я испугался, что он умер, и приподнял край. Он был живой. Сидел, нахохлившись, и смотрел на меня своей бусиной. И я, сам не знаю почему, сказал ему:

— Не бойся. Всё будет нормально.

Толик посмотрел на меня с подозрением.

— Ты с ним разговариваешь?

— Ну и что?

— Ничего. Так. Уточняю.

Дома я посадил скворца в коробку из-под бабушкиных зимних сапог. Постелил туда старую майку. Коробку поставил под свою кровать, подальше от окна, потому что от окна дуло. Скворец сидел в углу и не двигался. Только глаз блестел.

— Есть хочет, — сказал Толик. Он занимал собой половину нашей комнаты и стоял, пригнувшись, чтобы не задеть головой абажур.

— А что они едят?

— Червяков.

— Где я тебе в сентябре червяков возьму?

— Под досками у сарая. Или яйцо сварю. Дед им яйцо давал, когда птенцы выпадали.

Мы пошли на общую кухню. Кухня у нас была одна на весь этаж: четыре плиты, длинный стол, покрытый клеёнкой, и раковина, в которой вечно кто-то оставлял кастрюлю отмокать. На стене висело расписание дежурств, нарисованное тётей Ниной по линейке. Моя фамилия там была обведена красным. Это значило, что я своё дежурство пропустил. Причём, кажется, не одно.

Я поставил ковшик, сварил яйцо вкрутую. Пока оно варилось, Толик открыл холодильник с моей полкой и заглянул внутрь, как в колодец.

— У тебя ничего нет, — сказал он.

— Картошка есть. В мешке.

— Жарь.

— Сам жарь.

— Я гость.

Я почистил пять картофелин, порезал соломкой, тонко, как учила бабушка, и бросил на раскалённое масло. Сковородка у нас была чугунная, ещё бабушкиной мамы, тяжёлая, как гиря. Масло зашкворчало, кухня наполнилась запахом, и из четвёртой квартиры даже выглянул дядя Слава в своей драной майке.

— О-о... Парфенов картошку жарит, — сказал он кому-то через плечо. — Ну всё, сейчас весь этаж слюной захлебнётся.

Я жарил долго, не перемешивая, пока снизу не появилась золотая корочка. Потом перевернул одним движением, посолил, бросил кусочек лука. Бабушка всегда говорила, что картошку нельзя ворошить, как сено. Ей надо дать полежать.

Толик съел почти всю сковородку. Ел молча, сосредоточенно, и только в конце сказал:

— У тебя жарёха лучше, чем у моей мамки.

— Да ладно.

— Я серьёзно. Только ей не говори. Убьёт.

Я тогда пропустил это мимо ушей. Мне было приятно, но не больше. Подумаешь, картошка. Её все умеют жарить. Это я сейчас понимаю, что тогда, на этой облупленной общей кухне, кто-то в первый раз сказал мне, что я что-то делаю лучше других.

Яйцо я раскрошил мелко-мелко, размочил в воде и стал

кормить скворца с кончика спички. Сначала он отворачивался, потом схватил кусочек, а скоро уже сам открывал клюв и требовал добавки, смешно, по-детски, с хрипом. Я кормил его, а Толик сидел на подоконнике и смотрел.

— Надо ему имя дать, — сказал я.

— Зачем?

— Ну как. Живое же.

Толик подумал.

— Боцман, — сказал он.

— Почему Боцман?

— Посмотри на него. Крепкий. Шумный. И в тельняшке.

Я посмотрел. Крапинки на скворце и правда были похожи на полосы, если прищуриться. Так он стал Боцманом.

Через пару дней про Боцмана знал весь этаж. Тайны в общежитии не держались, через тонкие стены всё было слышно, а Боцман, окрепнув, стал орать по утрам, словно петух в деревне. Первыми пришли малые из шестой квартиры, двое братьев, Дима и Стас. Они стояли в дверях, открыв рты, и Стасик спросил, умеет ли птица разговаривать.

— Умеет, — сказал я. — Только по-скворцовски.

— А по-нашему?

— По-нашему учиться.

После этого Стасик приходил каждый день и учил Боцмана говорить «Стасик». Боцман так и не выучил. Зато выучил, как Стасик шмыгает носом, и повторял это так похоже, что Стасик обижался.

Потом пришёл дядя Слава. Постучал, хотя никогда не стучал раньше, вошёл и долго смотрел на коробку, держа руки в карманах своих обвисших трико.

— Скворец, — сказал он со знанием дела. — Они, говорят, песни запоминают. Можно научить.

— Какие песни?

— Хорошие. — Дядя Слава многозначительно кивнул в сторону своей квартиры. — Я тебе кассету дам.

Я вежливо отказался. Мне было страшно представить, что будет, если Боцман вместе с песнями выучит, как дядя Слава ругается матом, когда магнитофон снова зажуёт плёнку. Дядя Слава не обиделся. На следующий день он принёс горсть подсолнечных семечек, очищенных, специально для Боцмана. Чистил полвечера. Положил на край коробки и ушёл, ничего не сказав.

Даже тётя Нина однажды остановилась у нашей двери и сказала в щель:

— Птицу на сквозняке не держи. Простудишь.

И ушла, громко гремя ведром, чтобы никто не подумал, что ей не всё равно.

Я тогда впервые увидел нашу общагу по-другому. Как будто все эти люди, которые ругались из-за дежурств, сушили бельё в коридоре и стучали в стенку, когда у соседей громко, на самом деле были чем-то вроде одной большой семьи. Странной, шумной, вечно недовольной. Но семьи. И всё это из-за маленькой крапчатой птицы в коробке из-под сапог.

Следующие дни я помню плохо, потому что жил как в горячке. Со мной так бывало. Если что-то цепляло, то цепляло целиком, без остатка. Я сходил в районную библиотеку, куда не заходил с пятого класса, и взял все книги про птиц, какие там были. Библиотекариша смотрела на меня поверх очков так, будто я пришёл её грабить. Я читал до трёх ночи. Узнал, что скворцы умеют подражать любым звукам, хоть скрипу двери, хоть звонку телефона. Что они улетают на зиму в Европу и в Африку и возвращаются в марте. Что молодые летят отдельно от взрослых, своей стаей, и никто их не ведёт. Сами находят дорогу. Это меня больше всего поразило. В одной книжке было написано, что птенцов кормят каждые два часа, с рассвета до темноты. Боцман птенцом уже не был, но я на всякий случай завёл бабушкин будильник. Он звенел так, что подпрыгивала тумбочка и вся общага. Я вскакивал, сонный, лез под кровать, совал Боцману червяка и снова падал на подушку. За стенкой ворчала тётя Нина. На третью ночь она постучала и сказала, что если этот колокол зазвенит ещё раз, она сама меня покормит, но уже не червяками, и ответит мне полотенцем по шее. Будильник пришлось завернуть в свитер. Я впервые в жизни вставал по ночам ради кого-то другого, и мне, к моему удивлению, это нравилось.

Я перерисовал из книги схему птичьего крыла и повесил над кроватью. Сделал Боцману из лыжной палки шину, примотав её к крылу бинтом, и через час снял, потому что он её чуть не сгрыз вместе с бинтом. Выкопал у сарая банку чер-

вяков. Насоби́рал на кухне крошек. Я разговари́вал с ним утром, днём и вечером. Рассказыва́л про обща́гу, про бабушку, про то, что Толик застрял в заборе. Боцман слушал, наклоня́я голову, и иногда что-то отве́чал. Однажды ночью он вдруг изда́л звук, очень похожий на скрип нашей входной двери. Я сел на кровати и долго смеялся в подушку, чтобы не разбудить соседей за стенкой.

К директору я так и не сходил. Толик приходил каждый день. Сидел на подоконнике, смотрел на мои мучения с Боцманом и вздыхал.

— Ты к директору сходил?

— Завтра схожу.

— Ты это вчера говорил.

— Вчера я не мог. У Боцмана был стресс.

— У Боцмана стресс, — повторил Толик своим басом, глядя в потолок. — У меня от тебя стресс. Добирают до конца месяца. Потом всё. Пойдёшь грузчиком на базу работать. Будешь бригадиру давление поднимать до пенсии.

— Да схожу я!

— Ага.

В четверг мы с Толиком сидели на крыше гаражей. Туда можно было забраться по старой бочке. Крыши были покрыты рубероидом, который пах смолой даже в сырость. Боцман остался дома. Я теперь уходил ненадолго и всё время думал, как он там без меня.

— Слышь, — сказал Толик. — А ты бы куда полетел? Ес-

ли бы был птицей.

Вопрос был неожиданный. Толик обычно вопросов не задавал. Он их переживал.

— На море, — сказал я сразу. И сам удивился, как быстро это выскочило.

— На какое?

— Да на любое. Я ни разу не был на море.

— Я тоже.

— Ты не понимаешь. Я вообще ни разу. Ни на каком. Только по телевизору видел.

Толик подумал.

— А чего там делать, на море?

— Не знаю. Смотреть. Говорят, оно не кончается. Стоишь на берегу, а его до самого неба. И шумит. И пахнет по-другому. Не торфом.

Я сам не понимал, откуда во мне это. Никто в нашей общаге на море не ездил. Бабушка один раз была в санатории в Кисловодске, от комбината, но там моря нет, там горы и минеральная вода, которая пахнет тухлыми яйцами. Это она так рассказывала. А море было где-то очень далеко, за тысячу ночей на поезде, и жили там другие люди. Загорелые, весёлые, в белых рубашках.

— Ну а ты? — спросил я. — Куда бы полетел?

— Никуда, — сказал Толик.

— Как никуда?

— Так. Сел бы на крышу и сидел. Смотрел бы, кто куда

летит. Потом бы всем рассказывал, кто прав, а кто нет.

— Это не птица, это судья какой-то.

— Ну и что, — сказал Толик своим басом. — Тоже работа.

Я засмеялся. Тогда мне это показалось очередной его ленивой шуткой. Но через много лет, когда Толик в строгом костюме стоял в зале суда и говорил так, что все замолкали, я вспомнил эту крышу гаражей. И рубероид, пахнущий смолой. И подумал, что Толик, может быть, единственный из нас, кто с самого начала знал, куда летит.

* * *

Бабушка вернулась в пятницу поздно вечером, после двух смен подряд. Я услышал, как скрипнула входная дверь, и замер. Коробку с Боцманом я задвинул поглубже под кровать. Бабушка сняла сапоги, повесила на гвоздь свою рабочую телогрейку, от которой пахло опилками и машинным маслом. Прошла к плите, поставила чайник. Достала из кармана сигареты, открыла форточку. И только тогда сказала, не оборачиваясь:

— Ну. Показывай.

Я притворился, что не понял.

— Чего показывать?

— Того, кто у тебя под кроватью четвёртый день сидит. Нина мне на проходной всё рассказала. Говорит, у Парфенова в комнате кто-то свистит, как милиционер.

Я вытащил коробку. Боцман, увидев свет, захлопал здоровым крылом и сказал что-то вроде «чрррк». Бабушка по-

дошла, посмотрела. Долго смотрела. Взгляд у неё был всё тот же, тяжёлый, будто она проверяла скворца на враньё.

— Скворец, — сказала она.

— Скворец. Его собаки комбинатские подрали. Мы его с Толиком у опилок нашли.

— У опилок, — повторила бабушка. — Это значит, через забор. Это значит, на территорию пролезли?

Я промолчал. Отпираться было бесполезно, а признаваться не хотелось.

Бабушка затянулась, выпустила дым в форточку. Помолчала.

— Крыло покажи.

Я взял Боцмана в руки и осторожно расправил крыло. За эти дни оно почти выпрямилось. Боцман уже держал его на весу, хоть и чуть ниже второго. Бабушка потрогала его пальцем. Пальцы у неё были жёсткие, в мелких порезах, с жёлтыми от табака ногтями. Но трогала она так осторожно, как я никогда не видел.

— Перелом был бы, не срослось бы так быстро, — сказала она. — Вывих. Или ушиб. Дня через два-три полетит.

— Правда?

— Правда. И отпустишь.

— А может, пусть у нас перезимует? Я ему клетку сделаю.

Бабушка посмотрела на меня. И сказала то, что я запомнил на всю жизнь, хотя тогда, кажется, не понял ни слова.

— Ваня. Перелётная птица не потому улетает, что ей здесь

плохо. Ей там быть надо. У неё дорога внутри. Отними у неё дорогу, она и в клетке из золота сдохнет.

Она снова отвернулась к форточке. Я стоял с Боцманом в руках и не знал, что сказать.

— А ты, — сказала бабушка, глядя на улицу, — документы куда отнёс?

Я молчал. Она подождала и кивнула, как будто ответ её не удивил.

— Нина сказала, ты всё лето по базам да по крышам. Я знаю, Ваня. Я всё знаю. Директор Толикова училища с нашим главным инженером в одном классе учился. Я с ним поговорила. Возьмут тебя на свободное место, хоть занятия уже и идут. В понедельник пойдёшь. Со мной. Я отгул взяла.

Спорить с ней было всё равно что спорить с комбинатской трубой. Я кивнул. Бабушка докурила, затушила бычок о край форточки и, проходя мимо, вдруг положила мне руку на голову. Ненадолго. На секунду, может быть. Потом ушла спать. А я ещё долго сидел на полу с коробкой и слушал, как за стеной дядя Слава в сотый раз перематывает свою кассету, что-то бросает и громко матерится.

В субботу бабушка впервые за месяц была дома весь день. Я проснулся от запаха, который ни с чем не спутаешь. На общей кухне шкворчало, и пахло так, что даже Боцман в корбке завозился.

Бабушка пекла блины. Тонкие, кружевные, на старой чугунной сковородке. Она пекла их так редко, только по боль-

шим праздникам, и я не мог вспомнить, какой сегодня праздник. Я встал в дверях кухни в одних трусах и спросил.

— Никакой, — сказала бабушка. — Мука кончается, а то пропадёт. Иди умойся, чучело.

Когда я вернулся, она сунула мне в руки половник.

— Давай сам.

— Я не умею.

— Картошку умеешь. Нина говорит, у тебя на этаже очередь, когда ты жарить. Значит, и тут сможешь. Лей на середину и сразу крути.

Я налил. Покрутил сковородку, как она показала. Тесто расплзлось кривым кругом с дыркой на краю. Бабушка ничего не сказала. Я налил второй. Этот вышел ровнее. Третий я перевернул слишком рано, и он порвался. Четвёртый получился почти как у неё.

— Не торопись, — сказала бабушка. — Жди, пока края сами отойдут. Блин тебе сам скажет, когда его переворачивать. Ты только слушай.

Я слушал. Края темнели, подсыхали, начинали чуть-чуть загибаться вверх. И тогда я поддевал блин ножом, и он переворачивался легко, будто сам этого хотел. Это было удивительное чувство. Как будто вещь с тобой разговаривает, а ты её понимаешь.

Мы напекли целую стопку. Ели прямо на кухне, со сметаной и сахаром, обжигая пальцы. Бабушка съела три, больше она никогда не ела. Потом закурила у форточки и долго

смотрела, как я доедаю.

— Рука у тебя лёгкая, — сказала она вдруг. — В деда.

— В какого деда?

Но она уже отвернулась к окну, и я понял, что больше ничего не услышу. Про деда я не знал вообще ничего. Даже имени. На стене у нас висела только одна фотография, сама бабушка, молодая, в косынке, у станка на том же самом комбинате. Ей там было лет семнадцать. Она улыбалась. Я никогда не видел, чтобы она так улыбалась в жизни.

Последний блин я отнёс Боцману. Раскрошил на краю коробки. Он склевал всё до крошки и посмотрел на меня так, будто спрашивал, где добавка.

* * *

Боцман полетел в воскресенье.

Утром Кисляк вдруг кончился. Выглянуло солнце, бледное, осеннее, но настоящее. Лужи засверкали, от крыш пошёл пар. Я проснулся от того, что Боцман скрипел, как наша дверь, и бился в коробке. Не от страха. Он рвался.

Мы с Толиком отнесли его на Эверест. Я шёл с коробкой в руках, как с тортом, и всю дорогу боялся споткнуться. Собак не было слышно, но у самого забора из-под вагончика вдруг вылезла та самая рыжая. Посмотрела на нас и оскалилась. Я решил, что настал мой час. Набрал воздуха, вытаращил глаза и рывкнул, как Толик.

Получилось так, будто наступили на резиновую утку. Рыжая склонила голову набок. По-моему, она даже растерялась

от жалости.

Толик вздохнул, повернулся к ней и сказал одно слово, негромко. Рыжая убралась под вагончик и больше не показывалась.

— Я же говорил, — сказал Толик. — Пищишь.

— Это от волнения.

— Это от природы. Ничего, вырастешь. Может быть.

Толик пролез в дыру с первого раза и очень этим гордился.

— Похудел, — сказал он. — От нервов. Из-за твоего Боцмана.

На вершине было тепло и тихо. Внизу дымил комбинат. Я открыл коробку. Боцман выбрался на край, огляделся и замер. Долго сидел, вертел головой. Потом расправил оба крыла, проверяя. Сложил. Снова расправил.

И тут над нами прошла стая. Не журавли, другие птицы, мелкие, тёмные, их было много, сотни. Они летели не клином, а облаком, которое всё время меняло форму, сжималось и растягивалось, как будто кто-то большой дышал в небе. И трещали. Тем же самым треском, что и Боцман.

Боцман вытянул шею. Ответил им. И вдруг сорвался с коробки, низко, неуклюже, чиркнул крылом по опилкам. Я замер. Он выровнялся. Набрал высоту. Сел на забор комбината. Посидел там секунду, повернул голову в нашу сторону. И улетел за стаей. Догнал ли он их, я не знаю. Облако уходило на юг, за трубы, и мелкая точка тянулась за ним всё выше и

выше, пока я не потерял её из виду.

— Ну всё, — сказал Толик. — Улетел твой Боцман.

— Улетел.

Мы ещё долго сидели на Эвересте. Я ждал, что мне будет радостно. Я ведь этого хотел. Я его выходил, выкормил, вылечил, и он полетел. Всё получилось. А внутри было пусто. Как в коробке из-под сапог, где осталась только старая майка с белыми пятнышками помёта. Неделю у меня было дело, которое важнее всего на свете. А теперь его не стало, и я не понимал, куда себя деть.

Это чувство я потом узнавал ещё не раз. Каждый раз, когда добирался до того, чего очень хотел. Но тогда, в шестнадцать, я решил, что просто грущу по Боцману.

— Слышь, — сказал Толик. — А ведь он вернётся.

— Куда?

— Сюда. Весной. Они же на то же место прилетают. Дед говорил. Повесишь скворечник и жди.

— Он меня не узнает.

— Узнает, — сказал Толик своим басом. И так уверенно сказал, что я ему поверил.

В тот же день, на обратном пути, я занёс в библиотеку все книги про птиц. Библиотекарша приняла их, полистала, проверяя, не изрисовал ли я их. Всё было чисто. Она посмотрела на меня поверх очков.

— Прочитал?

— Прочитал.

— Ещё что-нибудь возьмёшь? У нас про птиц есть ещё атлас. Большой, с картинками. Я тебе отложила.

— Не надо, — сказал я. — Спасибо.

Она удивилась. А я и сам не понял, почему отказался. Неделю назад я бы за этот атлас отдал что угодно. А теперь он мне был не нужен. Как будто кто-то ночью опять выключил свет. Я вышел из библиотеки, сел на ступеньки и закурил. Мимо шли люди, ехали машины, где-то над крышами кричали вороны. А я сидел и не знал, чего хочу. Это было самое страшное. Не грусть, не тоска. Пустота, в которой даже желаний не осталось.

Скворечник мы сделали в тот же вечер. Доски Толик принёс с комбината, обрезки, которых там валялись целые горы. Гвозди одолжили у дяди Славы, молоток тоже. Работал в основном Толик. Он отмерял, пилил, прикладывал, снова отмерял, и всё это молча, с тем же лицом человека на остановке. Я подавал гвозди. Совсем как он когда-то своему деду.

— Дырку надо круглую, — говорил Толик. — Пять сантиметров. Не больше. А то вороны залезут.

— Откуда ты знаешь, что пять?

— Дед говорил.

Леток мы вырезали ножом, потому что сверла такого не было. Получился он не очень круглый, скорее похожий на картошку. Но Толик посмотрел и сказал, что сойдёт. Скворцы, по его словам, были не привередливые, им главное, чтобы сухо.

Повесили скворечник на старый тополь у нашего подъезда, повыше, чтобы кошки не достали. Я лез по стволу, Толик стоял внизу и руководил басом. На шум из окон высунулась половина общаги. Тётя Нина крикнула, что если я сломаю шею, она не виновата. Дядя Слава крикнул, что криво. Стасик с Димкой просто кричали, без всякого смысла, от восторга.

Когда я слез, мы с Толиком отошли и посмотрели. Скворечник висел и правда чуть криво, леток смотрел на комбинат.

— Пусть смотрит, — сказал Толик. — Он оттуда прилетит. Сразу увидит.

Я тогда подумал, что весна — это очень долго. Целая вечность. Октябрь, ноябрь, вся зима. Мне казалось, что я не доживу. Глупо, конечно. Кто в шестнадцать не доживает до весны?

* * *

В понедельник мы с бабушкой пошли в училище. Она надела своё единственное выходное пальто, тёмно-синее, с большими пуговицами, и всю дорогу молчала. В учебной части сидела женщина с высокой причёской и пила чай из гранёного стакана. Она сказала, что свободные места остались только на четыре специальности, дала мне бланк и ткнула ручкой в листок на столе.

Я смотрел в листок. Столяр. Слесарь. Сварщик. Повар. Буквы плыли. Я опять не знал. Бабушка стояла у меня за

спиной и тоже молчала, и это молчание было тяжелее любых слов.

На стене висели списки групп, отпечатанные на машинке. Я увидел знакомую фамилию. Вахрушев Анатолий. Группа сварщиков.

И я написал: сварщик.

Толик ждал нас на скамейке у входа. У него как раз кончилась пара, и он вышел посмотреть, чем всё кончится. Увидев бабушку, он встал и даже как будто стал меньше ростом.

— Здравствуйте, Тамара Васильевна.

— Здравствуй, Анатолий. Ты, значит, у него главный советчик.

— Я? Нет. Я так. Рядом стою.

— Рядом стоишь, — повторила бабушка и посмотрела на него своим взглядом. Толик выдержал. Я думаю, он был единственным человеком в районе, который мог выдержать этот взгляд и не начать сознаваться во всех грехах сразу. Бабушка, кажется, это тоже заметила.

Потом она закурила и долго смотрела на меня, прищурившись от дыма.

— За компанию, значит, — сказала она.

— Почему за компанию? Нормальная профессия.

— Нормальная, — согласилась бабушка. — Только не твоя.

— А какая моя?

Она пожала плечами и пошла к остановке. А проходя ми-

мо, сказала мне тихо, почти без губ:

— Этот хороший. Держись его.

Больше она про Толика никогда ничего не говорила. Но мне этого хватило.

Тогда я обиделся на её «не твоя». Сейчас я думаю, что она знала ответ. Просто ждала, когда я сам его найду. Бабушка никогда не подсказывала. Она только ловила на вранье. В том числе меня самого.

Когда автобус увёз бабушку, Толик спросил, куда меня записали. Я сказал. Он долго молчал, а потом произнёс:

— За компанию, значит.

— Да что вы все заладили! Нормальная профессия!

— Нормальная, — согласился Толик. — Ну пошли тогда, сварщик. Отметим.

И мы пошли за гаражи отмечать. Отмечать было нечем, кроме двух последних сигарет из бабушкиной пачки, которую она утром забыла на столе. Я до сих пор не знаю, забыла ли она её на самом деле.

Вечером снова пошёл дождь. Кисляк вернулся, как будто и не уходил. Я сидел на подоконнике в нашей комнате, курил в форточку, как бабушка, и смотрел на комбинат. Там горели жёлтые фонари, стучала кувалда, лаяли собаки. Всё было как всегда.

И вдруг сверху, из темноты, донеслось курлыканье. Тихое, далёкое. Журавлей не было видно, только голоса, где-то очень высоко, над облаками. Они летели ночью, в дождь, и

всё равно знали, куда.

Я высунулся в форточку и посмотрел вниз. Под фонарём на тополе качался наш скворечник, мокрый, кривой, пустой. Леток чернел, как открытый рот. Ветер раскачивал ветку, и скворечник кивал, будто соглашался с чем-то, что мне было не слышно.

Я достал из кармана фломастер. Посмотрел на деревянную раму окна, на которой уже было нарисовано столько всякой ерунды. Нашёл чистое место в самом углу. И нарисовал маленькую птицу. Летящую. С расправленными крыльями.

Это был первый мой рисунок, за который мне не было стыдно. Бабушка его так и не стёрла. Он пережил её. И пережил бы, наверное, и меня, если бы общагу не снесли.

ГЛАВА 2

Судьба

Что-то тревожило меня на душе, будто кошки скребли, а что именно, я понять не мог. Тесно было. Как в пальто, из которого вырос, а снять нельзя, потому что на улице холодно. Пошёл, выбрал себе профессию сварщика. Зачем? Кому это было нужно? На занятиях я спал. Никакого интереса. Спасали только перемены, когда можно было выйти за угол мастерских и покурить с Толяном.

Училище наше стояло на другом конце района, за железнодорожным переездом. Здание было серое, трёхэтажное, с облупленными колоннами у входа, как будто когда-то оно мечтало стать дворцом культуры, но не сложилось. Внутри пахло хлоркой, железной стружкой и столовскими котлетами. Насчёт еды, кстати, Толик не обманул: кормили. Каждый день, бесплатно, котлета с пюре или макароны с подливой. Толик съедал свою порцию, потом мою, потом смотрел по сторонам, не оставил ли кто.

— Ты как будто неделю не ел, — говорил я.

— Я растущий организм, — отвечал Толик басом. — Мне надо.

— Куда тебе ещё расти?

— Вширь. Дед говорил, мужика должно быть много.

Первые месяцы шла теория. Нам рассказывали про металлы, про электроды, про какую-то дугу, которая горит при

температуре выше, чем на поверхности солнца. Это меня даже на минуту заинтересовало. Солнце в руках. Но преподаватель, сухой лысоватый дядька в сером халате, рассказывал про это так, будто читал инструкцию к стиральной машине. И солнце в моей голове сразу гасло. Я подпирал щеку кулаком и проваливался в сон. Толик сидел рядом, и когда меня вызывали, толкал локтем и шептал ответ. Иногда правильный.

Меня так и не отпускала мысль про море. Я ведь там никогда не был. Откуда я мог знать, что там хорошо и мне понравится? А я знал. Вернее, чувствовал. Как будто было в этом что-то таинственное, какая-то тайна, которую мне обещали рассказать, но всё откладывали.

И однажды на уроке, сквозь сон, я вспомнил, откуда это. По телевизору как-то шла передача. Документальный фильм, или что-то в этом роде, по каналу «Культура», который у нас дома никто никогда не смотрел. Бабушка тогда уснула в кресле с пультом в руке, а я сидел на полу и не мог дотянуться, чтобы переключить. Пришлось смотреть. Показывали картины, где было нарисовано море. Художник ещё такой, имя на языке крутилось, никак не мог вспомнить. А потом вспомнил: точно, Иван Айвазовский. Ещё и звали его, как меня. Я тогда даже обрадовался, будто родственника встретил.

Картины он, конечно, писал красиво. Вживую я их не видел, только по телику, но и через экран было понятно. Волны

у него были такие, что хотелось отойти от телевизора, чтобы не окатило. Корабли тонули, люди цеплялись за обломки мачт, небо горело. И при этом всё светилось изнутри, как будто художник рисовал не краской, а светом.

Вот откуда у меня взялись мысли о море. Я как будто умел фотографировать глазами. Посмотрю один раз, и картинка остаётся во мне насовсем. И эти образы морских волн никак меня не покидали. Особенно одна картина. Я сначала подумал, что это вечерний закат. Потом понял, что нет. Это была ночь. Луна висела над морем, и от неё по воде тянулась светлая дрожащая дорожка, прямо к берегу. Горы стояли тёмные, мягкие, будто спящие. На берегу белели дома. А у самой воды стояли люди. Маленькие, едва заметные. Стояли и разговаривали о чём-то. Я не знаю, как это объяснить, но я почувствовал через экран тепло. Не от луны, луна холодная. От них. Как будто им было хорошо вместе, и они никуда не торопились.

Потом я узнаю, что эта картина называется «Лунная ночь в Крыму». Потом я найду её фотографию в журнале, вырежу и поставлю в рамку. Но тогда я ничего этого ещё не знал. Тогда я просто сидел на уроке материаловедения, смотрел в окно на мокрый переезд и думал, о чём могли говорить эти люди у воды. И почему мне так хочется туда, к ним.

— Парфенов! — сказал преподаватель. — Повторите, что я сказал.

Толик пихнул меня локтем и прошептал:

— Электрод.

— Электрод, — сказал я.

Преподаватель посмотрел на меня долгим взглядом поверх очков.

— Я спросил, какая у вас сегодня дата дежурства.

Класс заржал. Толик закрыл лицо ладонью.

— Извини, — сказал он мне потом, на перемене. — Я не расслышал. Решил, что электрод. Электрод почти всегда подходит.

— Почти, — сказал я.

— Почти — это много, — сказал Толик. — Дед говорил, почти не считается только в минёрах.

Мы курили за мастерскими. Там был закуток между стеной и забором, куда не доставали взгляды из окон учительской. Земля вся была усыпана окурками, будто тут годами держали оборону. Толик курил медленно, со вкусом, как будто каждая затяжка была отдельным делом, которое надо довести до конца.

— Толян, — сказал я. — Ты на море хочешь?

— Опять ты со своим морем.

— Ну хочешь или нет?

— Хочу, — подумав, сказал он. — Летом. На недельку. Чтобы шашлык, пиво и никто не дёргал.

— Я не про это.

— А про что?

Я хотел объяснить. Про лунную дорожку, про людей на

берегу, про тепло через экран. Но слова не складывались. Получалось глупо и как-то по-девчачьи. Толик бы не засмеялся, он вообще редко смеялся. Но посмотрел бы своим долгим взглядом, и мне стало бы неловко.

— Да так, — сказал я. — Ни про что.

Толик кивнул, будто ответ его полностью устроил. Затупил сигарету о забор, аккуратно, до конца.

— Пошли, — сказал он. — Звонок.

Мы пошли. А море осталось за мастерскими, в закутке, среди окурков. Там, где я его оставлял каждую перемену, чтобы забрать на следующей.

* * *

Зима в тот год пришла рано. В начале ноября выпал снег и больше не таял. Кисляк сменился морозом, лужи замёрзли, и наш район стал даже красивым. Белый, тихий, с жёлтыми окнами. Только комбинат всё так же стучал своей кувалдой и дымил, и дым на морозе поднимался прямо вверх, ровными столбами, будто комбинат подпирал ими небо, чтобы оно не упало.

Скворечник на тополе замело по самую крышу. Я каждое утро смотрел на него из окна. Глупость, конечно. Кто в него мог прилететь в ноябре? Но смотрел.

Картина не выходила у меня из головы. Я пытался её нарисовать. Взял у Стасика из шестой квартиры его школьные акварельные краски, двенадцать цветов в пластмассовой коробочке, и сел за стол. Нарисовал луну. Вышла как блин. На-

рисовал море. Вышло как лужа у нашего подъезда. Людей на берегу рисовать не стал, побоялся, что выйдут как рожи на подоконниках. Скомкал лист и выбросил. Краски вернул Стасику. Стасик сказал, что я испортил ему синюю. Я сказал, что синяя была испорчена до меня. Мы поругались, но к вечеру помирились, потому что я дал ему за синюю две сигареты для старшего брата.

Тогда я решил найти эту картину. Настоящую, напечатанную. Где ищут картины, я не имел понятия. Пошёл в районную библиотеку. Библиотекарша, та самая, в очках, узнала меня сразу.

— Опять про птиц?

— Нет. Про художника. Айвазовский.

Она подняла брови так высоко, что очки съехали на кончик носа.

— Ты?

— Я.

— Айвазовский?

— Ну да. Иван Константинович.

Это отчество я выучил специально, по дороге. Чтобы звучало солидно. Библиотекарша посмотрела на меня с новым уважением и ушла куда-то вглубь стеллажей. Вернулась с толстой книгой в потёртом зелёном переплёте. «Русская живопись XIX века». Картинки там были, но маленькие, чёрно-белые, на плохой бумаге. Айвазовскому досталось три страницы. Буря, корабль, ещё одна буря. Моей ночи там не

было.

— Другой нет? — спросил я.

— Альбом был, цветной. Взяли и не вернули. Лет пять назад.

— Кто взял?

— Если бы я знала, — сказала библиотекарша, — он бы уже давно вернулся.

Я ей поверил.

Искал я ещё долго. Перерыл все журналы в киоске «Роспечати» у остановки, пока продавщица не сказала, что тут не читальный зал. Спросил у дяди Славы, нет ли у него каких журналов. Дядя Слава долго думал, потом вынес из комнаты стопку «За рулём» за восемьдесят девятый год и сказал, что больше ничего нет, а эти он мне не отдаст, это память. Спросил даже у тёти Нины. Тётя Нина посмотрела на меня так, будто я попросил у неё денег, и закрыла дверь.

Нашёл я её случайно. В декабре, перед самым Новым годом, мы с Толиком пошли на центральный рынок за петардами и мандаринами. Бабушка дала мне сто рублей и наказала купить килограмм, но чтобы не кислые. Мандарины мы купили и пару пачек петард, тех, что взрывались так громко, что полрайона подскакивало. А на выходе, у самых ворот, сидел дед на раскладном стульчике и продавал старые книги и журналы. Разложил их прямо на клеёнке, на снегу, и придавил по углам кирпичами, чтобы не унесло ветром. Сам дед был в валенках, в огромном тулупе и с сосулькой на бороде,

похожий на Деда Мороза, которого уволили.

Я остановился просто так. И увидел. Журнал «Огонёк», старый, ещё советский, с обтрёпанными краями. На обложке была какая-то женщина в платке. А из-под обложки торчал уголок страницы. Синий, с жёлтой полоской. Этот синий цвет и эту полоску я узнал бы где угодно. Я вытащил журнал из-под кирпича, раскрыл, и сердце у меня ухнуло, как комбинатская кувалда.

Она. Лунная ночь. Целый разворот, цветной, на глянцевой бумаге. Луна, дорожка по воде, тёмные горы, белые дома. И люди у берега. Маленькие, едва заметные. Стоят и разговаривают.

— Сколько? — спросил я. Голос у меня вышел хриплый. Дед посмотрел на меня, на журнал, снова на меня.

— Тридцать.

У меня после мандаринов и петард оставалось двадцать два рубля. Я выгреб их из кармана вместе с какими-то спичками и крошками и протянул деду на ладони.

— Вот. Больше нет.

Дед долго смотрел на мою ладонь. Потом на Толика.

— А у товарища?

Толик молча полез в карман, достал восемь рублей мелочью и ссыпал деду в рукавицу. Дед пересчитал, кивнул и вдруг улыбнулся. Улыбка у него оказалась добрая, совсем без зубов.

— Айвазовский, — сказал дед. — Понимаешь в живопи-

си?

— Нет, — честно сказал я.

— Это хорошо, — сказал дед. — Значит, глазами смотришь, а не головой.

Я тогда не понял, что он имел в виду. Я свернул журнал трубочкой, сунул за пазуху, под куртку, чтобы не помять и не намочить, и всю дорогу домой держал руку на груди, как будто у меня там билось второе сердце. Толик шёл рядом и молчал. Только у самого дома сказал:

— С тебя восемь рублей.

— Отдам.

— Не надо, — сказал Толик. — Это подарок. На Новый год. Только больше ничего не жди.

Дома я вырезал разворот бабушкиными ножницами. Медленно, по самому краю, высунув язык, как в первом классе. Вырезал ровно, без единой зазубрины. Потом долго не знал, куда его деть. Повесить на стену на кнопки было жалко. Кнопки портят углы. Положить в книжку — значит не видеть. А мне хотелось видеть. Всё время.

Рамку сделал Толик. Он ведь ходил в кружок авиамоделирования, при доме пионеров, хоть и стеснялся этого, будто там учили вышивать крестиком. У него дома лежали тонкие бальсовые рейки, лёгкие, как бумага, и клей, который пах так, что кружилась голова. Толик выпросил у сторожа училища кусок стекла от разбитого окна, обрезал его стеклорезом, сколотил из реек рамку и подогнал всё так, что не было

ни щёлочки. Работал он три вечера, медленно, со вздохами, как всегда. И ни разу не ошибся.

— Держи, — сказал он и протянул рамку. — Только не роняй. Стекло тонкое.

— Толян, — сказал я. — Это же лучше, чем в музее.

— В музее не был, — сказал Толик. — Сравнить не могу.

Я повесил картину над кроватью. На гвоздь, который остался от старого календаря. Получилось так, что, лёжа на подушке, я видел её прямо перед собой, чуть сверху, как окно. Не в комбинат, не в серый двор, не в замёрзший тополь со скворечником. В море.

Бабушка пришла поздно, как обычно. Разулась, подошла к плите. Потом остановилась, обернулась и долго смотрела на стену над моей кроватью.

— Это что? — спросила она.

— Море.

— Вижу, что не комбинат. Откуда?

— Купил. На рынке.

— На мандариновые? — бабушка прищурилась. Я кивнул. Врать ей я после той осени старался поменьше.

Бабушка подошла поближе, надела очки, которые носила только для газет, и посмотрела на картину. Смотрела долго. Я ждал, что она скажет что-нибудь резкое. Что-нибудь вроде «лучше бы учебник купил». Но она сказала:

— Красиво. Светло.

Помолчала и добавила:

— Ну, пусть висит. Хоть что-то у тебя в жизни висит, кроме носа.

И ушла курить к форточке. А я лёг и смотрел на картину, пока не уснул. И потом, много лет, я засыпал вот так, глядя на неё. В разных комнатах, в разных городах, на разных гвоздях. А она всегда висела одинаково. Луна, дорожка, люди у воды.

* * *

Новый год мы встречали всей общагой. Так было каждый год, сколько я себя помнил. На общей кухне сдвигали столы, каждый приносил что мог. Тётя Нина делала селёдку под шубой, такую толстую, что её резали, как торт. Дядя Слава приносил свой магнитофон и банку маринованных огурцов собственного производства, от которых слезились глаза. Мать Стасика и Димки пекла пирог с капустой. А бабушка жарила котлеты. Её котлеты на этаже уважали так же, как её саму. Пышные, сочные, с хрустящей корочкой, и никто не знал секрета. Тётя Нина каждый год пыталась выведать, и каждый год бабушка говорила: «Руки».

В этот раз котлеты жарил я. Бабушка вернулась с комбината в десятом часу, уставшая так, что не могла снять сапоги, и сказала:

— Фарш в холодильнике. Хлеб в молоке. Лук порежь мелко, как я показывала. Не мелко, а мелко. Понял?

— Понял.

— Ничего ты не понял. Иди делай.

Я сделал. Лук резал минут двадцать, плакал так, что дядя Слава зашёл на кухню и спросил, кто умер. Хлеб отжал, добавил в фарш, посолил, поперчил. Потом подумал и добавил ещё ложку холодной воды. Просто показалось, что фарш суховат. Руки сами захотели.

Котлеты я жарил на той самой чугунной сковородке. Не торопил, не ворочал, ждал, пока корочка сама скажет. Как с блинами. Бабушка сидела у форточки, курила и делала вид, что не смотрит.

Когда котлеты оказались на общем столе, тётя Нина съела одну, потом вторую, потом подозрительно посмотрела на бабушку.

— Тамара, ты рецепт поменяла?

— Не я жарила, — сказала бабушка. — Ванька.

Тётя Нина перевела взгляд с меня на котлету и обратно.

— Сочнее, чем у тебя, — сказала она бабушке. — Вот же зараза.

Не знаю, кого она назвала заразой, меня или бабушку. Но бабушка вдруг улыбнулась. По-настоящему. Как на той фотографии у станка. Я видел эту улыбку второй раз в жизни.

Толик пришёл к одиннадцати, с мамой и сестрёнкой. Мама у Толика оказалась маленькая, худенькая, совсем на него не похожая. Она стеснялась, сидела на краешке табуретки и всё время предлагала помыть посуду. Толик съел девять котлет. Я считал. На десятой он остановился, посмотрел на меня и сказал басом на всю кухню:

— Парфенов. Тебе не сварщиком надо быть.

— А кем?

— Не знаю. Но не сварщиком.

Все засмеялись. Дядя Слава включил магнитофон, и магнитофон, конечно, тут же зажевал плёнку. Дядя Слава полез её доставать, а тётя Нина сказала, что если он сейчас начнёт ругаться, она его выгонит, Новый год там или не Новый год. Дядя Слава вытащил плёнку молча, с таким лицом, будто разминировал бомбу. Все аплодировали.

В двенадцать по телевизору били куранты. Мы стояли на кухне, тесно, плечом к плечу, с гранёными стаканами, в которых у взрослых было шампанское, а у нас с Толиком лимонад. Правда, дядя Слава незаметно плеснул нам из своей бутылки, подмигнул и приложил палец к губам. Я выпил одним махом. Горло обожгло, в животе стало горячо, а потом это тепло поднялось выше, разлилось по всему телу, и мне стало легко. Как будто кто-то снял с меня то самое тесное пальто.

Я посмотрел вокруг. Тётя Нина целовала в макушку Стасика. Бабушка стояла у окна и смотрела на комбинат. Толик жевал одиннадцатую котлету. Дядя Слава дирижировал вилкой курантам. И мне вдруг показалось, что всё это уже было когда-то. Что я это где-то видел. Люди стоят тесно, в тепле, разговаривают, и им хорошо вместе, и они никуда не торопятся.

Это было как на моей картине. Только вместо моря был

комбинат. А вместо луны лампочка без плафона.

Я тогда подумал, что, может быть, море не обязательно должно быть морем. Подумал и забыл. Потому что наступил Новый год, и все кричали «ура».

* * *

Практика в мастерских началась после каникул, в январе. Мастерские стояли во дворе училища, длинный кирпичный барак с высокими окнами, засиженными мухами ещё с прошлого века. Внутри было холодно, как на улице, только без ветра. Пахло окалиной, горелым железом и мокрыми рукавицами. Посередине стояли столы, сваренные из уголка, и на каждом лежала гора ржавых пластин, на которых нам предстояло учиться.

Мастера звали Геннадий Степанович. Все звали его Степанычем, даже директор. Это был невысокий, квадратный мужик с усами, жёлтыми от табака, и с такими руками, что ими, казалось, можно гнуть арматуру без всякого инструмента. На левой руке у него не хватало двух пальцев. Говорили, что на заводе, по молодости, по глупости. Сам Степаныч об этом не рассказывал. Но когда кто-то из нас баловался со сваркой, он молча поднимал свою беспалую руку, и баловство прекращалось само собой.

— Сварщик, — сказал Степаныч в первый день, обводя нас взглядом, — это не профессия. Это характер. Шов не врёт. По шву я про тебя всё скажу. Какой ты, что ел, с какой ноги встал. Ясно?

Все сказали, что ясно.

Потом нам раздали маски. Тяжёлые, чёрные, пахнущие чужим потом. Я надел свою и сразу понял, о чём говорил Толик. В маске никто не видит, спишь ты или работаешь. Внутри было темно, тихо и спокойно, как в погребке. Я бы, наверное, и правда там уснул.

Но потом Степаныч показал, как зажигать дугу.

Он чиркнул электродом по пластине, и вспыхнуло солнце. Маленькое, белое, злое. Через тёмное стекло маски оно было похоже на звезду, которая родилась прямо у меня на глазах. Металл под ним плавился, тёк, как вода, и застывал за электродом блестящей ровной чешуёй. Степаныч вёл шов медленно, не дрогнув ни разу, будто писал пером красивую букву.

Я смотрел и не дышал. Вот оно, подумал я, то, что я искал. Солнце в руках. Свет, который делает из двух кусков железа один.

Неделю я горел. Приходил в мастерские раньше всех, уходил последним. Изводил электроды пачками. Прожёл себе рукавицу, штанину и кончик чёлки. Глаза к вечеру слезились, как от лука. Бабушка смотрела на меня с подозрением, но ничего не говорила. Только однажды, увидев мою опалённую чёлку, сказала:

— Ну хоть подстригаться не надо.

А потом выключили свет. Тот самый, внутри.

Это случилось в один день, обычный, серый. Я пришёл

в мастерские, надел маску, чиркнул электродом. Вспыхнуло солнце. И я ничего не почувствовал. Белая точка, горячий металл, кривой шов, который никак не хотел ложиться ровно. Я смотрел на него сквозь тёмное стекло и думал: и это всё? Вот это я буду делать всю жизнь? Каждый день, в холодном бараке, в чужой вонючей маске?

Внутри стало пусто. Как тогда, на Эвересте, когда улетел Боцман.

Степаныч подошёл, посмотрел на мой шов. Поднял маску. Посмотрел на меня.

— Парфенов, — сказал он. — Ты сегодня с какой ноги встал?

— С обеих.

— Оно и видно. Шов как пьяный заяц бежал.

— Да какая разница, — сказал я. — Железка и железка.

Степаныч молчал долго. Потом поднял свою беспалую руку, но не для того, чтобы пригрозить. Просто положил её на мой стол, рядом с кривым швом.

— Разница такая, — сказал он тихо. — Ты эту железку сварешь, её в мост положат. А по мосту люди поедут. С детьми. Шов не врёт, Парфенов. Я тебе в первый день говорил.

И ушёл к другому столу. А у меня до вечера горели уши, хотя в мастерской было холодно.

Толик, кстати, оказался сварщиком от бога. Кто бы мог подумать. Он варил так же, как делал всё остальное: медлен-

но, со вздохами, без единой ошибки. Его швы Степаныч показывал всей группе как образец. Толик при этом стоял с таким лицом, будто его отчитывают, и смотрел в пол.

— Как ты это делаешь? — спросил я его однажды.

— Не знаю, — сказал Толик. — Руки сами.

— А думаешь о чём?

— Ни о чём. О шве.

Вот этого я никогда не умел. Думать о шве. Я всегда думал о чём-то другом. О море. О людях на берегу. О том, что настоящая жизнь где-то там, а я опять стою не в той очереди.

* * *

К весне я стал прогуливать. Сначала по одной паре, потом по две, потом целыми днями. Выходил утром из дома с сумкой, как положено, доходил до остановки и садился в автобус. Только не в тот, что шёл к училищу, а в тот, что шёл в центр, к вокзалу. Ехал почти час, через весь город. Зато там меня никто не знал.

Вокзал у нас был красивый, старый, с часами на башенке. Я садился в зале ожидания на деревянную скамью с гнутой спинкой, ставил сумку рядом и смотрел. На людей с чемоданами. На табло, где щёлкали буквы. Москва. Пермь. Екатеринбург. Владивосток. Санкт-Петербург. Буквы щёлкали, менялись местами, и каждый раз, когда загоралось новое название, у меня внутри что-то вздрагивало. Как будто это меня звали.

Иногда я выходил на перрон и смотрел, как уходят по-

езда. Последний вагон уползал всё дальше, становился маленьким, сворачивал за семафор и пропадал. А рельсы оставались. Две блестящие полосы, уходящие в никуда. Пустая дорога. Я мог смотреть на неё часами.

Однажды ко мне подседа бабка с огромным клетчатым баулом. Долго разглядывала меня, а потом спросила:

— Ты, внучек, кого встречаешь?

— Никого.

— А провожаешь кого?

— Никого.

— А чего тогда сидишь?

Я пожал плечами. Бабка подумала, вздохнула и достала из баула пирожок с картошкой, ещё тёплый, завёрнутый в газету.

— На, — сказала она. — Худой ты какой-то. Как будто сам уезжаешь, а билета нет.

И ушла на свой поезд. А я сидел с пирожком в руках и думал, что она права. Я как будто уже уезжал. Только не знал куда.

Однажды на перрон подали поезд на Санкт-Петербург. Синий, длинный, с белыми табличками на каждом вагоне. Я пошёл вдоль него, читая таблички, как будто это было письмо, адресованное мне. «Киров — Санкт-Петербург». Восемнадцать вагонов, и на каждом одно и то же. У последнего вагона курил проводник, пожилой, с седыми бакенбардами, в расстёгнутом кителе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.